

С.П. ПОЦЕЛУЕВ*
**СОЦИАЛЬНАЯ ЗАБЫВЧИВОСТЬ
КАК СИМВОЛИЧЕСКИЙ РЕСУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ
МОБИЛИЗАЦИИ (КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)¹**

Аннотация. Статья посвящена прояснению роли различных типов социальной забывчивости как символическому ресурсу национальной мобилизации. С опорой на методологический потенциал концептов памяти / забывчивости, представленных в сочинениях Аврелия Августина, Ф. Анкерсмита, П. Рикёра, П. Коннертона, Я. Ассмана и А. Ассман, П. Бергера и Т. Лукмана, автор идентифицирует забывание, забвение и амнезию как основные типы мнемонических дефицитов, релевантных в аспекте социального конструирования реальности. Сверх того, акцентируется роль «нарративной конфигурации» (П. Рикёр) как способа целенаправленного забывания, альтернативного социальной амнезии в контексте национальной мобилизации. В статье данный тезис поясняется с опорой на случаи ирландского и черкесского национализма, описанные в научной литературе. По мысли автора, идеология черкесского национализма показывает, что травмирующий исторический опыт, который трудно поддается забвению (вытеснению), может быть сознательно использован в качестве инструмента национальной мобилизации. Однако успех этого использования в существенной мере обусловлен символической убедительностью (естественностью) нарративного перетолкования эпического (фольклорного) наследия, а не отвлеченной «национальной идеей». В статье разворачивается тезис о том, что теоретическая релевантность кон-

* **Поцелуев Сергей Петрович**, доктор политических наук, доцент, профессор кафедры теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия), e-mail: spotselu@mail.ru

¹ Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации в сфере научной деятельности, проект № 30.2875.2017/8.9 «Этнополитическая и этнорелигиозная мобилизация черкесов и тюркских народов на Кавказе, в Крыму и диаспорах за рубежом».

цепта социального забвения относительно «забывания» и «амнезии» отчетливо проявляется в институте амнистии как виде предписанного забвения. Хотя амнистия часто выдает себя за амнезию либо отчасти ее порождает, она фактически никогда вполне с ней не совпадает. Опираясь на опыт стран, переживших острые гражданские конфликты (Испания, ЮАР, Руанда и др.), автор приводит аргументы в пользу вывода о том, что смешение амнистии с амнезией не только аморально, но часто ведет к политически ошибочной оценке предписанного забвения как инструмента национальной мобилизации. Статья может представлять интерес для прояснения концептуального аппарата в рамках анализа современных национальных движений, а также для уточнения методологии *memory studies* как отдельного направления научных исследований.

Ключевые слова: мнемонические дефициты; забывание; забвение; амнезия; нарративная конфигурация; травмирующее прошлое; амнистия; национальная мобилизация; черкесский национализм.

Для цитирования: Поцелуев С.П. Социальная забывчивость как символический ресурс национальной мобилизации (концептуальный аспект) // Политическая наука. – 2020. – № 2. – С. 42–65 – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.02>

Введение

Некоторые исследователи не без основания отмечают, что в отличие от зарубежных коллег российские ученые уделяют недостаточно внимания феноменам забвения, концентрируясь на проблеме воспроизводства культурной (исторической, социальной и т.п.) памяти [Галиндабаева, Карбаинов, 2019, с. 49]. Между тем известная сентенция Э. Ренана о том, что для создания своей коллективной исторической памяти нужно, чтобы члены национальной общности «многое позабыли» и вообще умели «хорошо забывать» [Ренан, 1902, с. 92, 97], требует солидного концептуального развертывания. Очевидным это становится в анализе феномена национальной мобилизации, под которой здесь будет подразумеваться «целенаправленная деятельность по организации разнообразных ресурсов (прежде всего символических) для вовлечения индивидов и групп в массовые акции и кампании, в ходе которых формируются идентификации людей с национальной общностью и конструируется коллективная идентичность нации на основе исходных сетей причастности индивидов к различным социальным общностям, воображаемого национального «врага» и пропагандируемого концепта нации как цели движения» [Поцелуев, Цибенко, 2019, с. 1].

Цель данной статьи – определить, какую роль играют разные типы забывчивости в рамках символической политики национальной мобилизации.

К вопросу о типологии социальной забывчивости

Если концепт социальной памяти относительно подробно проработан в рамках *memory studies* как отдельного направления исследований, то противоположный ему концепт социальной забывчивости остается довольно туманным. Такие термины, как «забывчивость», «забывание», «забвение», «амнезия» и т.п. зачастую используются нестрого, во всяком случае, на существенность их различий указывается редко. Как следствие возникают недоразумения, прежде всего, при попытке выстроить классификацию или типологию мнемонических дефицитов¹.

Прежде всего, здесь следует указать на типы «забвения», выделяемые нидерландским философом Франклином Анкерсмитом в его известной книге [Анкерсмит, 2007, с. 438–442]. Из анализа Анкерсмитом типичных случаев забвения вытекает, что, во-первых, забвение выступает обязательным условием обретения новой коллективной идентичности; во-вторых, для формирования устойчивой и жизнеспособной идентичности забвение прошлого опыта должно быть избирательным, а не тотальным; в-третьих, это забвение есть радикальное стирание из памяти прежнего опыта, когда социальный актор с новой идентичностью помнит лишь то, что он забыл этот опыт; в-четвертых, такое забвение есть результат сознательной практики проработки прошлого, вступившего в противоречие с новыми реалиями. Однако концептуальное соотношение выделяемых Анкерсмитом четырех «типов забвения» (которые не получают у него терминологической спецификации) остается неясным, поскольку их характеристика носит не столько идеально-типический, сколько дескриптивно-феноменологический характер. Другими словами, речь идет об описании ряда типичных

¹ Под мнемоническими дефицитами мы понимаем все возможные проявления недостаточности и дисфункциональности памяти. Данный концепт употребляется здесь как русскоязычный аналог термина «mnemonic deficits» [Modulation and mediation ..., 1995, p. 135 ff.]. В качестве синонима «мнемонических дефицитов» в статье будет использоваться термин «забывчивость».

случаев мнемонических дефицитов (причем одновременно на микро- и макроуровне социума), без видимого единого основания для их типологизации или классификации. Аналогичный подход наблюдается в описаниях забывчивости, предложенных рядом других авторов, к примеру, британским социальным антропологом Полом Коннертоном [Connerton, 2008].

Чтобы как-то разобраться в полисемии концепта забывчивости, требуются аналитические средства, способные разграничить разные виды, типы и уровни забывчивости. Прояснение соответствующей терминологии показывает, прежде всего, необходимость строгого разграничения между абсолютными и относительными формами проявления социальной забывчивости. К первым относятся различные типы социальной амнезии, ко вторым – прагматика забывчивости, также представленная разными формами. На принципиальность этого различия указывал в свое время классик философской мысли Аврелий Августин. В своей «Исповеди» он делает различие между «забывчивостью» (именно этим словом передается в русском издании оригинальный латинский термин *oblivionem*), которая оставляет следы (по которым можно вернуть забытое), и бесследной забывчивостью. В первом случае память, «ущемленная в привычном, словно охромев», сама помогает вернуть утраченное ею содержание [Августин Аврелий, 1991, с. 254–255]. Во втором случае такой возможности уже нет, и забытое нельзя вернуть даже напоминанием.

Однако даже бесследная утрата памяти о каких-то событиях еще не будет абсолютным мнемоническим дефицитом, коль скоро отдельный человек либо сообщество твердо помнят о своей забывчивости; помнят, что они «забыли не до такой степени, чтобы не помнить о том, что мы его забыли» [Августин Аврелий, 1991, с. 255]. Эта память о самом факте забывания есть тоже след, из-за которого было бы некорректно отождествлять забвение с амнезией как абсолютной забывчивостью. «Симптомы амнезии – как было верно замечено – обычно обнаруживаются теми, кто от нее не страдает, и связаны как с полной неспособностью страдающего амнезией человека проследить прошлое, так и с необходимостью помочь ему как можно скорее исправить это положение» [Lampropoulos, Markidou, 2010, p. 1].

Таким образом, с подачи Августина (и гипотетически расширяя его подход на уровень коллективных идентичностей)

мы можем говорить о трех типах забывчивости, маркирующих разные степени ее глубины. Целесообразно дать этим уровням и специальные названия, обозначив их соответственно как *забывание*, *забвение* и *амнезия*.

В современных социогуманитарных науках уже имеется понимание необходимости концептуально отличать социальную амнезию, прежде всего, от практики забывания. Так, французский философ Поль Рикёр различает, с одной стороны, «обычное забывание», которое «столь же молчаливо здесь, как и обычная память» [Рикёр, 2004, с. 591], а с другой – «глубокое забвение» [там же, с. 576]. В последнем он идентифицирует «два соперничающих между собой прочтения мнемонических феноменов», первое из которых «склоняется к идее окончательного забвения: это забывание из-за стирания следов; второе тяготеет к идее обратимого забвения, даже к идее незабываемого, т.е. забывания-резерва» [там же, с. 579]. Собственно амнезией как «дисфункцией памяти» Рикёр считает «окончательное забывание, связанное со стиранием следов» [там же, с. 590]. А «забывание-резерв» он трактует аналогично оговоренному выше смыслу «забвения»: память о прошлом в данном случае не уничтожается, а как бы складывается в хранилище, куда сознанию закрыт актуальный доступ, но последний не исключен в принципе, коль скоро найдутся для этого подходящие «ключи»; поэтому забывание-резерв есть не окончательное, а «обратимое забвение» [там же, с. 579]. Таким образом, развиваемый Рикёром концепт забывчивости содержит в себе понятийную дистинкцию забывания, забвения и амнезии в выделенном выше (вслед за Августином) смысле.

Некоторые авторы обозначают эту дистинкцию в терминах, аналогичных предложенным здесь, а именно отличая «забывание, которое через некоторое время может вернуть утраченное бытие актов воспоминания, и забвение, в результате которого утраченное бытие больше не возвращается» [Соломина, 2005, с. 18]. Сходным образом о случаях «забывания без забвения» (forgetting without oblivion) пишет американский политический философ Брэдфорд Вивьен [Vivian, 2010, p. 39 ff.].

В целом определение специфики отдельных типов социомнемонических дефицитов остается открытым вопросом, и приведенных выше аргументов в пользу трехчленной дистинкции «забывание – забвение – амнезия», конечно, недостаточно. Не только

сама экстраполяция общей августиновской схемы на уровень коллективных идентичностей требует дополнительного обоснования; не менее тривиальным вопросом является соотношение описывающих эти идентичности различных концептов (культурная, историческая, социальная, политическая и т.д. память / забывчивость). Но в данной статье автор от этих вопросов абстрагируется, подразумевая под «социальной забывчивостью» зонтичный концепт для всех разновидностей мнемонических дефицитов. Основной же акцент будет сделан на ряде методологических моментов, релевантных для конструирования национальной памяти с учетом упомянутых типов забывчивости.

Нарратив как символическая фигура вспоминания / забывания

Переходя в своем анализе проявлений забывчивости от глубинного (часто бессознательного) уровня мнемонического опыта к уровню «неусыпной бдительности», «прагматике забвения», П. Рикёр замечает, что на этом уровне «суждения о забвении составляют по большей части просто оборотную сторону высказываний о памяти» [Рикёр, 2004, с. 614]. Это и есть тот уровень «обычного забывания», которому Рикёр противопоставляет амнезию как клинический случай. Обычное забывание составляет лишь одну сторону единой мнемонической способности, в которой «на сохранение и забывание исторической информации работают одни и те же механизмы» [Шестов, 2014, с. 80]. Алейда Ассман пишет о «динамике припоминания и забвения», состоящей в том, что «обеспечение сохранности неизменно подразумевает свою противоположность – отбор, отбрасывание и уничтожение, а также более мягкие формы забвения: пренебрежение, деформацию и потерю» [Ассман, 2014, с. 32]. В духе прагматики забывания определяет «коммеморативные практики» и О.Ю. Малинова – как «процесс отбора того, что подлежит вспоминанию и забвению. ‘Вспоминается’ то, что кажется важным с позиций настоящего. ‘Забывается’ то, что представляется ‘детальями’ или ‘случайностями’» [Малинова, 2018, с. 44].

Основа такой прямой связи вспоминания и забывания – в их предметности, предполагающей селективное обращение с про-

шлым. Другими словами, забывание, как и вспоминание, предполагает активацию определенных когнитивных инструментов (концептуальных «рамок», по М. Хальбваксу [Хальбвакс, 2007, с. 129]), и на этот момент не всегда обращается должное внимание. Акцентируя специфическое сочетание теоретического и эстетического начал в упомянутых «рамках», Ян Ассман называет их «символическими фигурами воспоминания» как культурно сформированными, общественно обязательными мнемоническими образами. Эти образы, выражаясь в нарративной либо иконической форме, относятся к конкретному времени и пространству, конкретной группе, а также характеризуются «воссозданием как специфическим для них способом действия» [Ассман, 2004, с. 39].

На «воссоздание» здесь стоит обратить особое внимание: оно представляет собой воспроизводимость символического смысла в другой вещественной оболочке знака – подобно тому, как святые места Палестины символически воссоздавались русскими монахами среди суровой природы Валаама. Эта символическая экстраполируемость памятных мест и событий имеет особое значение для национальной мобилизации, так как позволяет существенно расширить географию мобилизуемых людей на основе исходных сетей их причастности к разным социокультурным общностям. При этом различия в материальных оболочках символически значимых событий предаются забвению как несущественные. Это позволяет, к примеру, лучше понять (при учете прочих обстоятельств), почему в России 90-х годов прошлого века «две чеченские военные кампании стали для черкесов и чеченцев общим делом, победа в котором приравнивалась к возвращению Кавказа и возвращению на Кавказ» [Цибенко, Никифоров, 2015, с. 94].

Упомянутые символические фигуры социальной памяти связывают прежде всего с вербально выраженными нарративами. В частности, П. Рикёр пишет о «работе нарративной конфигурации» [Рикёр, 2004, с. 616], которая может выступать инструментом не только активного вспоминания, но и забывания. Но как *можно* эффективно забыть то, что *нужно* забыть? Это составляет нетривиальную проблему не только на индивидуальном, но и на коллективном (историческом, культурном) уровне. Ведь нельзя так просто забыть по приказу или соглашению, и даже то, что кажется амнезией, может оказаться лишь «памятью-резервом».

На индивидуальном уровне классическое изложение этой проблемы дают Питер Бергер и Томас Лукман, описывая случай «альтернатики» как радикальной трансформации субъективной реальности (идентичности) индивида, требующей ресоциализации. Последняя предполагает перетолкование всей биографии; в особенности нуждаются в новом истолковании лица и события, которые в прошлом служили опорными точками для формирования прежней идентичности. Для альтернатики индивида, пишут Бергер и Лукман, лучше всего было бы *полностью забыть* эти опоры своего прежнего «я». Но полное забвение часто затруднительно, если вообще возможно. Из этой ситуации есть, однако, выход: радикальная реинтерпретация значимых моментов прошлого в свете новой идентичности. «Поскольку *гораздо легче выдумать то, что никогда не происходило, нежели забыть то, что действительно произошло* [курсив мой. – С. П.], индивиду может понадобиться фабрикация и вставка в биографию событий – повсюду, где есть нужда в гармонизации воспоминаний с перетолкованием прошлого» [Бергер, Лукман, 1995, с. 259].

Другими словами, трансформация идентичности эффективнее осуществляется не через амнезию на прошлый опыт, а благодаря его новому истолкованию в сфабрикованной новой истории (биографии). Таким образом, у авторов «Социального конструирования реальности» нарративная реинтерпретация выступает альтернативой амнезии в процессе трансформации идентичности. В этот тезис П. Рикёр вносит одно важное дополнение: реинтерпретация прошлого опыта посредством *нового рассказа* оказывается именно *потому* эффективной альтернативой амнезии в процессе конструирования социальной идентичности, что сам по себе нарратив есть форма незаметного и ненавязчивого забывания. Рассказ, подчеркивает Рикёр, предполагает избирательное отношение к историческому материалу в силу своей сюжетной структуры. Соответственно, идеологическое манипулирование памятью (ради конструирования социальных идентичностей) «становится возможным благодаря средствам варьирования, предоставляемым работой нарративной конфигурации. Стратегии забывания непосредственно соотносятся с такой работой конфигурации: всегда можно рассказать по-другому, о чем-то умалчивая, смещая акценты, различными способами рефигурируя участников действия, как и контуры самого действия» [Рикёр, 2004, с. 619]. Безусловной заслугой рикёровского

концепта «прагматики забвения» является акцент на существенной связи между этими тремя моментами: конструированием социальной идентичности, избирательностью вспоминания / забывания и селективным характером повествовательности.

Забывание через нарратив на службе национальной мобилизации

Нарративный подход к объяснению динамики запоминания / забывания интересно проследить при анализе символических стратегий национальной мобилизации. К наиболее сложным случаям такого рода относятся проявления этнического (в широком смысле) национализма в многосоставных обществах, и типичным примером здесь может служить черкесский национализм, представленный в России и ряде других стран. Среди его проявлений эксперты выделяют два основных типа. «Первый, объединительный, развивается в русле макронационализма, т.е. собирает черкесов в единую кавказскую (северокавказскую) нацию. Согласно второму, черкесский национальный проект существует параллельно абхазскому, осетинскому, чеченскому и пр. и строится на постулате ‘черкес = адыг’» [Цибенко, 2017, с. 197]. Когда сторонники первого, макронационального черкесского проекта, получившие неформальное название «макронов» (в отличие от «микронов», выступающих за узкое этническое понимание «черкесскости»), пытаются выстроить соответствующий национальный нарратив черкесов, они отталкиваются от определенных идейно-политических посылок. С позиции турецкого государственного национализма всех черкесов (всех северокавказцев) объединяет тюркское происхождение, исламское вероисповедание, общая историческая судьба и общий Враг (российский империализм) [Цибенко, 2017, с. 196]. Эта идеологическая рамка задает направление дальнейшего выстраивания нарратива, его главных героев и связанных с ними событий, причем поверх объективной логики исторического процесса. Всё, что в последнем противоречит конструируемому мифонарративу, оперативно забывается. В свою очередь, «микроны» выстраивают свои версии черкесского национального нарратива, используя фольклорно-эпическое наследие отдельных кавказских народов. В этом случае конструирование национального

нарратива выглядит естественнее, однако и здесь предполагается реинтерпретация «старых историй».

Нарративный подход к дискурсу национальной мобилизации нередко имеет дело только с базовым национальным мифом как уже готовым продуктом символического конструирования, тогда как эпическо-рапсодический этап в изобретении национального мифонарратива недооценивается. Между тем конструирование национальной идентичности предполагает реконструкцию традиционных нарративов, составленных из отдельных событий, историй, героев, а также их различных версий, которые не связаны между собой общим, связным повествованием, хотя и могут обнаруживать родство на уровне отдельных сюжетных линий и персонажей. Как замечает Патрик Хаттон, «талант рапсода заключался не в создании мифа, а в изобретении эпоса, и каждый рапсод рассказывал свою историю немного иначе, чем остальные» [Хаттон, 2004, с. 122]. Без опоры – в той или иной форме – на эпическую предысторию (даже если последняя есть тоже в значительной мере позднейший конструкт) современным разработчикам национальных мифов трудно быть убедительными.

Основная смысловая схема национальной реконструкции фольклорно-эпического наследия состоит в изменении мифического времени с абсолютного на историческое в рамках соответствующей политики памяти [Ассман, 2004, с. 82]. Абсолютное прошлое – это фантастическое, в реальности недостижимое «превремя», в котором действуют боги и герои-полубоги. Историческое время представляется тоже героическим, но одновременно и соразмерным современным людям; поэтому оно оказывается достижимым для них образцом для подражания. Героика исторического времени не просто противопоставляется мрачному настоящему, а вдохновляет современников на подвиги его преобразования, в частности, в духе национального идеала.

Немецкий историк Маттиас Швайгер показывает в своей диссертации, посвященной ирландскому национальному движению первой половины XIX в. [Schwaiger, 2002], каким образом национальными активистами создавался и поддерживался миф о непрерывной «тысячелетней борьбе» ирландского народа за независимость от «имперской Британии», для чего реальная история ирландцев переписывалась, выборочно забывалась и монтировалась заново. Как отмечает Швайгер, в традиционном ирландском

эпосе главный герой грезит о том, как ему является Ирландия в облике женщины неземной красоты, которая плачется на свою судьбу и разбитые надежды. В других вариантах эпического наследия Ирландия фигурировала в образе «Shan Van Vocht» – бедной старухи, с которой нищие ирландцы могли легко себя идентифицировать, поскольку этот образ точно соответствовал их реальному положению. Однако националистически мыслящие ирландские журналисты изменили этот пессимистический настрой эпоса, превратив олицетворяющий Ирландию образ в гордую молодую женщину, вполне земную, призывающую к подвигам во имя отечества. Этот боевой образ получил и соответствующее имя, взятое, опять же, из местного фольклора: теперь Ирландия отождествлялась с «королевой пиратов» Грануаль (Granuaile), которая, по легенде, не боялась бросить вызов даже королеве Елизавете I [Schwaiger, 2002, S. 315]. Здесь мы видим классический пример перетолкования народного прошлого в духе националистического варианта «альтернативы». Было бы интересно систематически исследовать с помощью данных концептов сходные процессы, которые сейчас разворачиваются, в частности, на Юге России.

Символизм социального забвения между травмой и табу

Социальное забвение, как и забывание, выступает в двух модусах: как целенаправленная деятельность и как стихийная когнитивная активность. Первый модус забвения превосходно описывает Ф. Анкерсмит на примере социального забвения домодерновых порядков в Европе в эпоху Просвещения и буржуазных революций. Такое забвение мыслится как масштабный и драматичный опыт социальной трансформации, далеко выходящий за рамки обычной прагматики забывания. Далее, социальное забвение относится не столько к процессу, сколько к результату трансформации социальных идентичностей (что, кстати, коррелирует и с различиями семантик сходных русских и английских терминов: забывание vs забвение; forgetting vs oblivion); основу новой идентичности образует состоявшееся забвение, а не процесс забывания. Отсюда – более радикальное, чем в случае забывания, исключение прошлого.

Однако этот радикализм не следует путать с амнезией. Речь идет о новой идентичности сообщества либо человека, «который

знает о своей прежней идентичности (но больше не совпадает с ней). Он исключил (часть) прошлого из своей идентичности и, в этом смысле, забыл его. Но он не забыл, что забыл его» [Анкерсмит, 2007, с. 455]. Последняя фраза звучит почти как цитата из Августина, точно характеризуя отличие забвения от амнезии. В отличие от амнезии, забвение, как и забывание, может быть весьма активным процессом, точнее, результатом критической проработки прошлого. Но забвение может осуществляться и в форме неотрафлексированного вытеснения негативной памяти, что тоже бывает обусловлено каким-то драматичным, пороговым опытом (войны, революции, кризисы и т.п.). А. Ассман выделяет несколько «стратегий вытеснения», располагающихся в пространстве между *травмой* и *табу*, причем последние далеко не всегда совпадают; так, «стратегия в виде отрицания вины, отделения себя от произошедших событий, вытеснение этих событий из сознания через замалчивание описываются скорее понятием “табу”, нежели понятием “травма”» [Ассман, 2014, с. 60–61].

Забвение в форме вытеснения травматического опыта само по себе еще не означает ни неизбежной пассивности его носителей, ни разрушения их идентичности. Травма, в отличие от рядового поражения есть то, что нации, как и отдельному человеку, трудно забыть даже при желании забыть. И если простое вытеснение (замалчивание) травматического опыта не помогает его преодолению, тогда в дело включается упомянутое переписывание биографии. А оно может происходить как в режиме проработки трудного прошлого с опорой на историческую правду либо в режиме «альтернативы». В любом случае, тезис о том, что «травма – в отличие от героического нарратива – не мобилизует и не консолидирует, а нарушает и даже разрушает идентичность» [Ассман, 2014, с. 69], представляется спорным. Это, по-видимому, не совсем точно в отношении Германии, где катастрофа Второй мировой войны не означала ликвидации «морально-духовных основ» нации. Более того, восприятие этой катастрофы как «нулевой отметки» послевоенной истории производило на немцев мобилирующий эффект: нация определяла себя заново, но не разрушала.

Другой пример – травматический опыт кавказских войн, о котором пишут многие авторы, включая симпатизантов черкесского национализма. «Кавказская война и мухаджирство для адыгов – историческая травма» [Урушадзе, 2018, с. 115], однако националиста

эта травма скорее мобилизует, чем деморализует, поскольку она «выступает важной частью рассказа о себе и способом актуализации адыгского единства» [там же, с. 115]. Всё дело в выстраивании нужного нарратива, способного не только поражение, но и любую травму сделать символическим ресурсом национальной мобилизации. Здесь гораздо важнее акцентируемое Ренаном различие между трауром и триумфом, чем между травмой и поражением [Ренан, 1902]. Это верно, что нарратив, обладающий «искусством ассоциации», по природе своей «может исцелять от травмы: создавая повествование о травматическом опыте, включая его в состав нашей личной истории, мы надеемся овладеть им и лишиться его зловещих свойств» [Анкерсмит, 2007, с. 469–470]. Но не менее верно и то, что нарративное искусство ассоциации может сохранять и даже усиливать травматический эффект исторического опыта – подумаем только о нынешних «войнах памяти» на постсоветском пространстве.

Общий концепт национальной мобилизации, характерный для актуальных этнонациональных движений на Северном Кавказе, требует Врага, причем не в далеком «русском царизме, отделенном от русского народа», а в актуальном пространстве России. «В настоящий момент можно наблюдать, как формируется северокавказская контристория, выросшая из советской идеологемы борьбы против колониального гнета царизма, но сменившая классовый подход на этнонациональный, опрокинутый в имперское и советское прошлое. Теперь места трудящихся и угнетенных заняли, соответственно, кавказцы и русские, последние из которых обвиняются в совершении с XVI по XXI век серии этноцидов» [Цибенко, 2018, с. 214]. С этим связаны беспепелляционные утверждения о том, что «память о Кавказской войне невозможно эффективно использовать в качестве исторического примера единения многонационального народа Российской Федерации» [Урушадзе, 2018, с. 110]. Данный тезис понятен в контексте разговоров о «незавершенности процессов нациестроительства в регионе» Северного Кавказа [там же, с. 125], однако при такой постановке вопроса у российской гражданской нации, известной под именем «многонационального народа», в этом российском регионе будет мало шансов на реализацию.

В любом случае кейс черкесского национализма хорошо показывает, что социальное забвение, как и обычное забывание, тоже

имеет свою – масштабную и глубокую – историческую прагматику, которая отнюдь не сводится к невротическому вытеснению опыта, травмирующего «душу народа».

Амнистия как социальное забвение, «притворяющееся» амнезией

Забвение, связанное не столько с травмой, сколько с табуированием прошлого, может принимать разные формы. В ряде случаев наложение табу на забываемое прошлое может быть вообще молчаливым и невольным, и здесь оно смыкается с травмой. «Столкнувшись с табу, – пишет П. Коннертон, – люди могут замолчать от ужаса или паники [...]. Конечно, мы не можем вывести факт забвения из факта молчания. Тем не менее некоторые акты молчания могут быть попыткой похоронить вещи вне выражения и досягаемости памяти» [Connerton, 2008, p. 68]. Но в случае национальной мобилизации табуирование прошлого есть сознательная политическая стратегия, нацеленная на примирение враждующих сил ради национального единства. И типичным примером такого табуирования является амнистия.

По словам П. Рикёра, «амнистия как форма институционального забвения касается самих корней политического, а через него – наиболее глубокого и потаенного отношения к прошлому, находящемуся под категорическим запретом» [Рикёр, 2004, с. 626]. Но сам факт запрета говорит о том, что мы имеем дело не с амнезией, которая вообще в табу не нуждается, а с предписанным забвением. А. Ассман принципиально различает два вида такого забвения: в одном случае оно работает в режиме символической кары, «проклятия памяти» («*damnatio memoriae*»), когда, к примеру, террористов обрекают на безымянное погребение, как бы вычеркивая их (конечно, только символически) из социальной (исторической) памяти. В другом случае, напротив, предписанное забвение означает акт пощады и милосердия, как в случае амнистии [Ассман, 2014, с. 65].

П. Коннертон склоняется к мнению, что амнистия всегда должна означать полное забвение «всего насилия, ран и ущерба», которые некогда враждующие стороны нанесли друг другу [Connerton, 2008, p. 62]. В этой связи он позитивно оценивает тот факт,

что «выявление и наказание активных нацистов было забыто в Германии к началу 1950-х годов, так же как число осужденных было сведено к минимуму в Австрии и Франции» [Connerton, 2008, p. 62]. В этом британский антрополог видит условие для восстановления легитимности государства и минимального уровня сплоченности гражданского общества в странах, переживших тоталитаризм.

Для многих историков и политологов такой вывод представляется, однако, крайне спорным, причем спорным в двояком смысле: когнитивном и моральном. На когнитивный аспект этой проблемы обращает внимание А. Ассман, подчеркивая, что «амнистию не следует путать с амнезией; амнезия – бесформенное, бессознательное и незавершенное забвение; амнистия, напротив, является забвением волевым – той формой самоопределения и ограничения дискурса, которая запрещает определенные факты в публичном общении» [Assmann, 2009, S. 71]. Б. Вивьен также акцентирует когнитивный момент, замечая, что в случае амнистии концепты прощения и забвения имеют несколько иной смысл, чем в религиозной практике, где прошлое грешника буквально стирается, низводится до полного забвения. В случае же амнистии как политического акта эффект прощения – «это не стирание (или амнезия), а что-то вроде сокрытия... в котором голое присутствие прошлого сохраняется в заметно измененной форме, что парадоксально привлекает внимание к самому акту сокрытия» [Vivian, 2010, p. 56]. По крайней мере в контексте преступлений против человечности забывание сопротивляется его отождествлению с амнезией.

Сходного мнения придерживается и Рикёр. Он признает, что юридически помилование в виде амнистии оказывается равнозначным амнезии, и семантическая близость слов «амнистия» и «амнезия» говорит о том, что оба феномена имеют отношение к отрицанию памяти. Однако, замечает философ, в амнистии это отрицание только имитируется, отнюдь не способствуя прощению. На самом деле единство амнистии и амнезии – только воображаемое, в связи с чем возникает вопрос, «не является ли недостатком этого воображаемого единства то, что оно вычеркивает из официальной памяти примеры преступлений, способные предохранить будущее от ошибок, совершенных в прошлом, и, лишая общест-

венное мнение преимуществ диссенсуса, осуждает соперничающие памяти на опасную потаенную жизнь?» [Рикёр, 2004, с. 629].

Но помимо этих когнитивно-психологических аргументов, есть моральная сторона вопроса, на которую также обратила внимание А. Ассман. По ее словам, асимметрия насилия между преступником и беззащитной жертвой, находя свое продолжение в асимметрии памяти, «устраняется не обоюдным забвением, а только общей памятью. Вместо забвения в виде преодоления прошлого должны прийти совместное воспоминание как акт примирения, совершаемый порой уже только потомками, и сохранение прошлого» [Ассман, 2014, с. 66]. Без этой совместной проработки трудного прошлого акт амнистии, сопряженный с амнезией, не может обеспечить бесконфликтную память даже после примирения враждующих сторон. Как показывает актуальный политический опыт Испании, Германии, а также ряда других, в том числе неевропейских стран, проработка трудного прошлого – это не однажды сколоченный символический капитал, на проценты с которого могут потом «безбедно» жить последующие поколения; скорее, это политика, требующая постоянных символических инвестиций. К примеру, так называемый «Пакт забвения» («Pacto de Olvido») в постфранкистской Испании, призванный символизировать акт примирения между враждующими партиями гражданской войны, отнюдь не всеми воспринимается сегодня как призыв к забвению / амнезии. И не воспринимается как раз потому, что не всем очевидна упомянутая «симметрия насилия» между сторонами гражданского противостояния. Правда, отчасти этот вопрос смягчается исторической иронией, когда некоторые из тех, кого можно было бы считать военными преступниками на службе диктатора, стояли у руля перехода к демократии [Ugarte, 2016, p. 148].

Схожий с «Pacto de Olvido» эффект южноафриканской «Комиссии правды и примирения» (Truth and Reconciliation Commission), задуманной как средство национального единения и включавшей акт амнистии для замешанных в преступлениях апартеида, также обнаружил с течением времени свою двусмысленность. Как отмечает в своем эссе «Всё не прощено. Южная Африка и шрамы апартеида» южноафриканская писательница и политическая активистка Сисонке Мсиманг, упомянутая комиссия, оставив без внимания институциональные аспекты наследия апартеида, многими в ЮАР воспринимается сегодня критически – как «спек-

такль, имеющий отношение преимущественно к внешней стороне установления истины, а не содержательному наполнению этой истины» [Пономарева, 2018, с. 210].

Проблематичность постконфликтной амнезии отмечает и британский социолог Джон Нэйгл, показывая на примере городской политики памяти в Бейруте и Белфасте, что там вместо проработки трудного прошлого «государство часто культивирует амнезию для поддержания логики политического перехода, в то время как на общинном уровне конкурирующие этнические группы распространяют мемориальные практики в рамках войн памяти» [Nagle, 2018]. Однако политика официальной амнезии работает плохо – ей сопротивляются «призраки прошлого» и «места-привидения» как фигуры вытесненной (табуированной) памяти, которые, однако, никуда не исчезают из сознания людей, хотя и не видимы в актуальных культурных ландшафтах. Они содержат характеристики, которые противоречат ребрендинговым нарративам городских центров, прерывая линейный поток официальной истории [Ibid].

Таким образом, амнезия через амнистию, во-первых, сама по себе не решает важнейшую для нациестроительства проблему примирения разных вариантов исторической памяти; она лишь отражает отсутствие в обществе консенсуса в отношении памяти о конфликте, который рассматривается как слишком противоречивый, чтобы осмысливать его в совместной рефлексии. Во-вторых, эта амнезия часто есть лишь желание, выдаваемое за действительность, потому что ему, помимо прочего, сопротивляются упомянутые мемориальные «призраки», а также тип забывания, который Коннертон называет «униженным молчанием». В этом «тайном молчании, вызванном особым видом коллективного стыда, обнаруживается как желание забыть, так и иногда фактический эффект забвения [Connerton, 2008, p. 67], но никогда – желание и способность помнить и забывать *вместе*.

Упомянутые выше случаи предписанного забвения, включая амнистию, крайне актуальны для России, будущность которой напрямую зависит от успешности гражданской национальной мобилизации. Здесь более эффективной стратегией представляется не амнезия и предписанное забвение, а совместное забывание общего проблемного прошлого в контексте диалога разных версий исторической памяти. Такое забывание выходит за рамки националисти-

ческого обращения с травматическим прошлым по принципу игры с нулевой суммой, предполагая с необходимостью «совместное производство исторического знания о чередующейся роли жертв и палачей в общей истории пережитого и причиненного насилия» [Ассман, 2016, с. 213]. В этой связи концепт «диалогической памяти», сформулированный А. Ассман для общей мемориальной политики стран ЕС, может быть развит применительно к реалиям много-составного российского общества. В современной России тоже политически успешной представляется не унифицированная память на основе официальной амнезии на проблемное прошлое, а стратегия «диалогической соотнесенности, взаимного признания и совместимости» [там же, с. 213] картин истории, сформированных в разных сегментах российской политики.

Резюмируем сказанное выше в нескольких тезисах.

Имеющийся в науке опыт концептуализации различных проявлений социальной забывчивости обнаруживает недостаточность дескриптивно-феноменологического подхода. Для разработки собственно типологии социомнемонических дефицитов следует использовать (хотя бы для начала как гипотезу) восходящую к А. Августину концептуальную схему, различающую уровни забывчивости в зависимости от сохранности следов забываемого. С учетом семантики соответствующих терминов, а также имеющих в научной литературе подходов, можно упорядочить разнообразие проявлений социальной забывчивости по трем типам: *забывание, забвение и амнезия*.

Если забывание носит селективный и относительный характер, составляя лишь оборотную сторону воспоминания, то забвение, напротив, предполагает полное стирание (вытеснение) следов забываемого, что зачастую сопровождается травмами и табу в отношении пережитого прошлого. Однако забвение не ведет к утрате самой способности помнить, что отличает забвение от амнезии и выражается в «призраках» памяти, оппонирующих амнезии как предписанному забвению и прочим практикам официальной политики памяти.

Эффективность работы памяти как когнитивной способности обусловлена символическими фигурами (рамками), позволяющими не только предметно помнить, но и предметно забывать. Особенно востребованной эта способность становится в случае радикальной трансформации / конструирования социальных иден-

тичностью («альтернатиции» в терминах П. Бергера и Т. Лукмана), когда полное забвение проблемного прошлого бывает необходимым, но трудно достижимым опытом. В этом случае альтернативой забвению и амнезии оказываются стратегии забывания на основе смыслового варьирования, фабрикации новых «фактов» прошлого и т.п., присущие «нарративной конфигурации» в смысле П. Рикёра.

Забывание через нарративную конфигурацию в случае национальной мобилизации предполагает тонкое нарративное перетолкование традиционного культурного (рапсодического, эпического, фольклорного и т.п.) наследия. Убедительность (для носителей соответствующих культурных паттернов) такого перетолкования может служить одним из критериев собственно национальной мобилизации, а не ее фантома, оказывающегося на поверку лишь проекцией иных политических стратегий. Последнее, по-видимому, имеет место в случае поддерживаемого турецкими властями «общекавказского» черкесского проекта – в отличие от тех версий черкесского национализма, которые используют фольклорно-эпическое наследие отдельных кавказских народов.

В отличие от обычной (в том числе нарративной) прагматики забывания социальное забвение есть результат драматического опыта общественных катастроф и трансформаций, который сопровождается как героизмом побед, так и травмами поражений. Однако и в этом случае действует своя прагматика, которая даже травмирующий опыт масштабных поражений может использовать в качестве инструмента конструирования новой социальной идентичности.

Теоретическая релевантность концепта социального забвения относительно забывания и амнезии ярче всего проявляется в случае амнистии как вида предписанного забвения. Табуирование прошлого в пространстве амнистии придает акту забвения существенно больший символизм по сравнению с организованным забыванием в рамках обычных политических технологий. Однако, как показывают многочисленные случаи постконфликтных стран, разворачивающих гражданско-национальную мобилизацию на своих территориях, амнистия, с одной стороны, не может (по когнитивным и моральным основаниям) отождествляться с амнезией, а с другой – заменять собой диалогические практики забывания и вспоминания.

Национальная мобилизация включает в себя не только повседневную прагматику забывания и возвышенный символизм забвения, но также реальную амнезию на моменты прошлого, которые не совместимы с возникающей национальной идентичностью. Поэтому для трезвой и критической оценки символической политики национальной мобилизации различие упомянутых типов забывчивости представляется методологически релевантным.

Список литературы

- Августин Аврелий.* Исповедь / М.К. Сергеенко (пер. с лат.); А.А. Столяров (вступит. статья). – М.: Ренессанс: СП ИВО – Сид, 1991. – 488 с.
- Анкерсмит Ф.Р.* Возвышенный исторический опыт: пер. с англ. – М.: Европа, 2007. – 612 с.
- Ассман А.* Новое недовольство мемориальной культурой / пер. с нем. Б. Хлебникова. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 223 с.
- Ассман А.* Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / Б. Хлебников (пер. с нем.). – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 187 с.
- Ассман Я.* Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / М.М. Сокольская (пер. с нем.). – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.
- Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. (Трактат по социологии знания). – М.: Медиум, 1995. – 323 с.
- Галиндабаева В.В., Карбаинов Н.И.* Память и забвение в метисном сельском сообществе // Социологические исследования. – 2019. – № 7. – С. 48–55. – DOI: <https://doi.org/10.31857/s013216250005792-4>
- Малинова О.Ю.* Политика памяти как область символической политики // Методологические вопросы изучения политики памяти: сб. научн. тр. / отв. ред. А.И. Миллер, Д.В. Ефременко. – М.; СПб.: Нестор-История, 2018. – С. 27–53.
- Понамарева А.М.* Политика памяти на страницах журнала Foreign Affairs: методологические установки: аналитический обзор // Методологические вопросы изучения политики памяти: сб. научн. тр. / отв. ред. А.И. Миллер, Д.В. Ефременко. – М.; СПб.: Нестор-История, 2018. – С. 196–221.
- Поцелуев С.П., Цибенко С.Н.* Феномен национальной мобилизации: к уточнению концепта // *Ars Administrandi* (Искусство управления). – 2019. – Т. 11, № 1. – С. 1–23. – DOI: <https://doi.org/10.17072/2218-9173-2019-1-1-23>
- Ренан Э.* Что такое нация? // *Ренан Э.* Собр. соч.: в 12 т. – Киев, 1902. – Т. 6. – С. 87–101.
- Рикёр П.* Память, история, забвение: пер. с франц. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. – 728 с.

- Соломина И.Ю. Социальная память: структура и феномены: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11 / Сам. гос. ун-т. – Самара, 2005. – 19 с.
- Урушадзе А.Т. Помнить-нельзя-забыть: Кавказская война в исторической памяти адыгов и российском пространстве коммеморации // Политическая наука. – 2018. – № 3. – С. 106–128. – DOI: <https://doi.org/10.31249/poln/2018.03.06>
- Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. с фр. и вступ. статья С.Н. Зенкина. – М.: Новое издательство, 2007. – 348 с.
- Хаттон П.Х. История как искусство памяти. – СПб.: Владимир Даль, 2004. – 424 с.
- Цибенко В.В. Микро- и макронациональная идентичность черкесской (кавказской) диаспоры Турции // Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. – 2017. – № 12 (36). – С. 196–201.
- Цибенко В.В. Такое разное прошлое: коммуникативный разрыв и другие вызовы для современного кавказоведения // Новое прошлое = The New Past. – 2018. – № 3. – С. 211–215.
- Цибенко В.В., Никифоров С.В. 1864–1944–1994. Коллективная память и особенности черкесо-чеченского взаимодействия на Ближнем Востоке // Научная мысль Кавказа. – 2015. – № 4. – С. 89–97. – DOI: <https://doi.org/10.18522/2072-0181-2015-84-4-89-97>
- Шестов Н.И. Механизмы «забывания» в структуре исторической памяти // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А.В. Гладышева. – Саратов: Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 2014. – Вып. 9. – С. 76–89.
- Assmann A. Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. – München: C.H. Beck, 2009. – 424 S.
- Connerton P. Seven types of forgetting // Memory Studies. – 2008. – N 1. – P. 59–71. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1750698007083889>
- Lampropoulos A., Markidou V. Introduction: Configuring Cultural Amnesia // Synthesis: an Anglophone journal of comparative literary studies. – 2010. – N 2. – P. 1–6. – DOI: <http://dx.doi.org/10.12681/syn.16485>
- Modulation and mediation of neuroplasticity / J.L. McGaugh, N.M. Weinberger, G. Lynch (eds). – N.Y.; Oxford: Oxford university press, 1995. – 364 p.
- Nagle J. Defying state amnesia and memory war's: non-sectarian memory activism in Beirut and Belfast city centres // Social & Cultural Geography. – 2018. – P. 1–22. – DOI: <https://doi.org/10.1080/14649365.2018.1497191>
- Schwaiger M.A. Nationale Mobilisierung einer Agrargesellschaft. Die Catholic Association, die Loyal National Repeal Association und Young Ireland, 1801–1848. Dissertation an der Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München. – München. – 2002. – den 02. April. – 453 S.
- Ugarte M. [Rec.] // Historiografias. – 2017. – N 13. – P. 146–155. – Rec. ad. op.: David Rieff. In praise of forgetting: Historical memory and its ironies. – New Haven, CT: Yale university press, 2016. – 160 p. – DOI: https://doi.org/10.26754/ojs_historiografias/hrht.2017132357

Vivian B. Public forgetting: the rhetoric and politics of beginning again. – University Park: Penn state university press, 2010. – 212 p.

S.P. Potseluev*

**Social forgetfulness as a symbolic resource of national mobilization
(conceptual aspect)¹**

Abstract. The article is devoted to clarifying the role of different types of social forgetfulness as a symbolic resource of national mobilization. Based on the methodological potential of the concepts of memory / forgetfulness presented in the works of Saint Augustine, F. Ankersmit, P. Ricoeur, P. Connerton, J. Assmann and A. Assmann, P.L. Berger and T. Luckmann, the author identifies forgetting, oblivion and amnesia as the main types of mnemonic deficits relevant in the aspect of social construction of reality. The article emphasizes the role of «narrative configuration» (P. Ricoeur) as a way of purposeful forgetting, an alternative to social amnesia in the context of national mobilization. The article develops this thesis based on the cases of Irish and Circassian nationalism described in the scientific literature. According to the author, the ideology of Circassian nationalism shows that the traumatic historical experience, which is difficult to forget (displace), can be consciously used as an instrument of national mobilization. However, the success of this use is largely due to the symbolic persuasiveness (naturalness) of the narrative reinterpretation of the epic (folk) heritage, and not to the abstract national «idea». The article develops the thesis that the theoretical relevance of the concept of social oblivion with respect to social «forgetting» and «amnesia» is clearly manifested in the amnesty institute as a form of prescribed oblivion. Although amnesty often pretends to be amnesia, or in part generates it, it never quite coincides with it. Based on the experience of countries that have experienced acute civil conflicts (Spain, South Africa, Rwanda etc.), the author gathers arguments in favor of the conclusion that mixing amnesty with amnesia is not only immoral, but often leads to a politically erroneous assessment of prescribed oblivion as an instrument of national mobilization. The article may be of interest to clarify the conceptual apparatus in the analysis of modern national movements, as well as to clarify the methodology of memory studies as a separate area of research.

Keywords: mnemonic deficits; forgetting; oblivion; amnesia; narrative configuration; traumatic past; amnesty; national mobilization; Circassian nationalism.

* **Potseluev Sergey**, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia), e-mail: spotselu@mail.ru

¹The research is a part of the programme budgeted by Russian Federation Ministry of Education and Science, project no. 30.2875.2017/8.9 «Ethno-political and ethno-religious mobilization of the Circassians and the Turkic peoples in the Caucasus, the Crimea and foreign diaspora».

For citation: Potseluev S.P. Social forgetfulness as a symbolic resource of national mobilization (conceptual aspect). *Political science (RU)*. 2020, N 2, P. 42–65. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.02>

References

- Ankersmit F.R. *Sublime historical experience*. Moscow: Europa, 2007, 612 p. (In Russ.)
- Assmann J. *Cultural memory: writing, memory of the past and political identity in high cultures of antiquity*. Moscow: Languages of Slavic culture, 2004, 368 p. (In Russ.)
- Assmann A. Memory spaces. Forms and transformations of cultural memory. Munich: C.H. Beck, 2009, 424 p. (In Germ.)
- Assmann A. *Long shadow of the past: memorial culture and historical politics*. Moscow: New literary review, 2014, 328 p. (In Russ.)
- Assman A. New discontent with memorial culture. Moscow: New literary review, 2016, 223 p. (In Russ.)
- Augustine. *Confessions*. Moscow: Renaissance, SP IVO-SID, 1991, 488 p. (In Russ.)
- Berger P.L., Luckmann T. *The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge*. Moscow: Medium, 1995, 323 p. (In Russ.)
- Connerton P. Seven types of forgetting. *Memory Studies*. 2008, N 1, P. 59–71. DOI: <https://doi.org/10.1177/1750698007083889>
- Galindabaeva V.V., Karbainov N. Memory and oblivion in the metis rural community. *Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]*. 2019, N 7, P. 48–55. DOI: <https://doi.org/10.31857/s013216250005792-4> (In Russ.)
- Halbwachs M. *The Social frameworks of memory*. Moscow: New publishing house, 2007, 348 p. (In Russ.)
- Hutton P.H. *History as an art of memory*. Saint Petersburg: Vladimir Dal publishing house, 2004, 424 p. (In Russ.)
- Lampropoulos A., Markidou V. Introduction: Configuring Cultural Amnesia. *Synthesis: an Anglophone Journal of Comparative Literary Studies*. 2010, N 2, P. 1–6. DOI: <http://dx.doi.org/10.12681/syn.16485>
- Malinova O.Yu. Politics of memory as a field of symbolic politics. In: Miller A.I., Efremenko D.V. (eds.) *Methodological issues of studying the politics of memory: collection of scientific papers*. Moscow; Saint Petersburg: Nestor-Istoriya, 2018, P. 27–53. (In Russ.)
- McGaugh J.L., Weinberger N.M., Lynch G. (eds.) *Modulation and Mediation of Neuroplasticity*. New York; Oxford: Oxford university press, 1995, 364 p.
- Nagle J. Defying state amnesia and memory war's: non-sectarian memory activism in Beirut and Belfast city centres. *Social & Cultural Geography*. 2018, P. 1–22. DOI: <https://doi.org/10.1080/14649365.2018.1497191>
- Ponamareva A.M. Politics of memory on the pages of *Foreign Affairs*: methodological settings (analytical review). In: Miller A.I., Efremenko D.V. (eds.) *Methodological issues of studying the politics of memory: collection of scientific papers*. Moscow, Saint Petersburg: Nestor-Istoriya, 2018, P. 196–221. (In Russ.)

- Potseluev S.P., Tsibenko S.N. The Phenomenon of national mobilization: clarifying the concept. *Ars Administrandi*. 2019, Vol. 11, N 1, P. 1–23. DOI: <https://doi.org/10.17072/2218-9173-2019-1-1-23> (In Russ.)
- Renan E. What is a nation? In: *Renan E. Coll. Op. in 12 vols*. Vol. 6. Kiev, 1902, P. 87–101. (In Russ.)
- Ricoeur P. *Memory, history, forgetting*. Moscow: publishing house of humanitarian literature, 2004, 728 p. (In Russ.)
- Shestov N.I. Mechanisms of ‘Forgetting’ in the structure of historical memory. In: Gladyshev A.V. (eds.) *History and historical memory: collection of scientific papers*. Vol. 9. Saratov: Saratov state university, 2014, P. 76–89. (In Russ.)
- Schwaiger M.A. *National mobilization of an agricultural society. The Catholic association, the Loyal national repeal association and young Ireland, 1801–1848*. Dissertation at the Faculty of History and Art Studies at the Ludwig Maximilians university in Munich. Munich, April 02, 2002, 453 p. (In Germ.)
- Solomina I.Yu. *Social memory: structure and phenomenon: abstract of the thesis of Cand. Sci in Philosophy*. Samara, Samara state university. 2005 (In Russ.)
- Tsibenko V.V. Micro- and macronational identity of the Circassian (Caucasian) diaspora in Turkey. *Bulletin of science of the Adyghe Republican Research Institute of Humanitarian Studies named after T.M. Kerashev*. 2017, N 12(36), P. 196–201. (In Russ.)
- Tsibenko V.V. Such different past: Communicative gap and other challenges for modern Caucasus. *The New Past*. 2018, N 3, P. 211–215. (In Russ.)
- Tsibenko V.V., Nikiforov S.V. 1864–1944–1994. Collective memory and the features of Circassian-Chechen interaction in the Middle East. *Naučnaâ mysl' Kavkaza (Scientific Thought of the Caucasus)*. 2015, N 4, P. 89–97. DOI: <https://doi.org/10.18522/2072-0181-2015-84-4-89-97> (In Russ.)
- Ugarte M. David Rieff, in praise of forgetting: Historical memory and its ironies. New Haven, CT: Yale university press, 2016, 160 pp. *Historiografias*. 2017, N 13, P. 146–155. DOI: https://doi.org/10.26754/ojs_historiografias/hrht.2017132357
- Urushadze A.T. Remember–can't–be forgotten: Caucasian war in the historical memory of Adygs and in the Russian space of commemoration. *Political science (RU)*. 2018, N 3, P. 106–128. DOI: <https://doi.org/10.31249/poln/2018.03.06> (In Russ.)
- Vivian B. *Public forgetting: the rhetoric and politics of beginning again*. University park: Penn state university press, 2010, 212 p.